

Шейкс
Бахшиев

Разнообразие

1515

ФЕЛИКС БАХШИЕВ

133217
12561

Разногласье

РАССКАЗЫ

Центральная объединенная
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
г. Хасавюрт

Дагестанское
книжное издательство
Махачкала 1977



Бахшиев Ф.
Б30 Разнотравье. Рассказы. Махачкала, Даг. кн. изд-во, 1977.
64 с. С (Даг)

Феликс Бахшиев не новичок в литературе. Читатель уже знаком с такими сборниками рассказов молодого писателя, как «Где-то есть сын», «Слышать голос твой», «Бег времени», «Мужская любовь».

Ф. Бахшиеву присуще неторопливое повествование, исполненное лирики; сюжеты его рассказов просты, с глубоким жизненным содержанием.

Таков и новый его сборник «Разнотравье». Книга обращена к широкому кругу читателей.

ПРОЗРЕНИЕ ПРИХОДИТ УТРОМ

И пошел снег.

А деревья еще не успели обронить свой осенний наряд, и если вчера, облитые солнцем, казались золотыми, как в сказочном индийском Куско, то сейчас выглядели нелепо и жалко.

И состояние у Шалимова было какое-то промежуточное, невесомое. Поташнивало, и из головы не выходили слова: «Пора тебе на другую работу, легкую, иначе болезнь согнет тебя. Послушайся моего совета...» Эти слова жгли его в гостинице, взрывались в мозгу, когда он летел из областного центра домой в горы. Почему на другую работу, чем вызвано такое пожелание... район справляется со всеми заданиями, хотя и не ходит в передовых. Инструкции и указания выполняются. Да что там инструкции и указания... В каждый новый дом, в каждое новое селение, в каждое новое фруктовое дерево он вложил частицу своей души, своего сердца.

Он ничего не мог понять, мысли путались в голове. Резкий автомобильный сигнал заставил его вздрогнуть.

Максуд открыл дверцу «уазика»:

- Готово. Можно ехать.
- Все проверил?
- Ну...

Он сел рядом с шофером, захлопнул дверцу, и машина мягко выкатилась с площади на узкую аульскую улочку.

— Будьте спокойны, товарищ Шалимов, в армии два года генерала возил, а он любил большие скорости...

Внезапно выглянуло солнце, больно ударило в глаза, и на губы Шалимова легла теплая улыбка.

— И фонарь в дорогу засветил,— сказал довольный шофер,— теперь будет легче ехать.

— Ты меньше тараторь, больше на дорогу смотри.

Шофер был молоденький, розовощекий, но баранку держал уверенно.

— А нам без болтовни нельзя, товарищ Шалимов, машина укачивает, глядишь, вздремнешь и слетишь с дороги.

— Случалось такое?

— Случись — не сидел бы рядом с вами. В жизни, товарищ Шалимов, надо быть оптимистом, точнее реалистом, и ожидать всего.

— Чего всего?

— Ну, всего, что может и не может случиться.

— Забавно,— сказал Шалимов,— забавная позиция. И как в таком случае живет?

— Ничего, спокойно живет. Можно сказать, даже уверенно живет.

— Забавно,— повторил про себя Шалимов. И в памяти снова всплыл разговор с секретарем обкома. Сколько дней прошло, а он помнил каждое слово.

Этот высокий сутуловатый человек с утомленными глазами не желал ему зла — чистый, прямой и откровенный был у него взгляд, и голос теплый, душевный. Да и с чего ему желать зла: родились и выросли в одном ауле, вместе окончили школу и институт, вместе перешли на партийную работу. Много было хорошего, доброго, если вспомнить. Но последняя встреча оставила в душе осадок. И слова: «Пора тебе на другую работу, легкую...»

Неужели где-то дана промашка, где-то чего-то не доглядел, не довел до конца, не решил? Но в таком случае сказал бы прямо, открыто, в глаза, а не намеками да вздохами. Хорошо, допустим, я уйду, но кто доведет до конца, дорешит, есть ли кандидатура? Есть ли... Второй секретарь напорист, деловит, принципиален, нет, больше прямолинеен, а проявит ли себя на посту первого... Впрочем, этот пост еще не освободился. И не освободится. Нет на то веских причин. А что до болезни, то как ей заблагорассудится, так она и поведет себя. Должна повести. Да и кто сейчас не болеет...

Шалимов удобно вытянул ноги, глубже втиснулся в сиденье и приспустил боковое стекло. В машину ворвался свежий воздух, снег уже растаял, над мокрой землей поднимался пар.

— Быстро меняется погода,— проговорил Шалимов.

— Как сердце красавицы,— поддержал Максуд.

— А ты знаешь ее?

— Кого?

— Красавицу.

Максуд бросил на него лукавый взгляд:

— Так говорят, и в песне поется.

— Ах, говорят...

— Ну... жена Ирацхана, завмага, говорят, хотела уйти от него, да чего-то не ушла, но опустилась, подурнела, а красавица была — во всем районе первая.

— Не слышал. С чего это она?

— Кто скажет...

— Дом полон всякого добра. Какая муха ее укусила? И почему я не знаю?

— Может, добро ее и душит. Грязное оно, нечестное...

— Ты-то откуда можешь знать?

— Говорят.

— У тебя один ответ на все: говорят, говорят. Ты сам свое мнение имеешь?

— Почему же нет... Вот вы, как говорится, объявили

войну пьянству, ограничили, как говорится, продажу водки. Все в ажуре...

— В чем?

— В ажуре. А Ирацхан привозит целую машину водки, но не довозит до магазина. Где-то у моста, говорят, рядом с лоточником, его уже поджидают покупатели из аулов и в пять минут разбирают дефицит.

— Ты посмотри-ка,— мог только промолвить Шалимов.— Неужели правда? Или тоже «говорят»? — Он недоверчиво глянул на шофера.

Тот был сама невозмутимость.

— А разве в том, что говорят, не бывает правды? Скажите, товарищ Шалимов, не бывает?

— Бывает, бывает,— промолвил Шалимов, словно отмахиваясь от вопроса и задумался: «Почему я не знаю? Если то, что говорит Максуд, правда, соседи осмеют на всю республику: если, конечно, правда...»

Машина взяла крутой поворот, и вдруг завизжала, завопила тормозами, замерла, бросив его к лобовому стеклу.

— Ах, ты, бабка,—заскрипел зубами Максуд, открывая дверцу,— ах, ты, черт...

У самого радиатора стояла старушка с большой вязанкой дров. Она застыла, казалось, на месте и была похожа на исхудавшую черную ворону, которая присела на дорогу и бессильна уже подняться.

Шалимов выпрыгнул на дорогу, подбежал к ней и участливо спросил:

— Мать, что с тобой, не больна?

— Нет, сынок, слава аллаху, здорова,— она сделала несколько осторожных, шаркающих шагов. На склоне горы захрустели ветви и только теперь Шалимов заметил несколько молодых женщин и девочек, укладывавших вязанки.

— Садись, мать, подвезем,— обратился Шалимов к старушке и пошел к машине.

— А дрова? — отозвался Максуд.— «Уазик» не верблюд.

— Приспособишь вязанку наверху как-нибудь. Садись, мать.

— Весь тент поцарапает, да и где веревку достать?

Максуд, ворча, снял вязанку со спины у старушки, стал приспособлять ее, а старушка тем временем влезла в машину и удобно расположилась на заднем сиденье.

— Далеко идти, мать? — спросил Шалимов, не оборачиваясь.

— В Сикор.

— В Сикор? — Шалимов недоверчиво покосился на нее.— Это же два часа лезть в гору.

— Верно, сынок.

Максуд устало опустил на сиденье, машина заурчала и медленно, осторожно покатила по узкой дороге.

— У вас леса нет своего, что ли? — спросил Шалимов.

— Откуда ему быть, сынок, если на нашей горе только пни торчат. И их уже разбирают.

— Сельсовет куда смотрит? — пробурчал Шалимов.

— Что сельсовет? Лес до него вырубил. Спасибо, немного дров он нам завез, да на зиму не хватит. Вот и спускаемся сюда. А там, выше,— лесхоз, не разрешают рубить.

Ехали молча, старушка, очевидно, отдыхала, и говорить ей не хотелось, а Шалимову не о чем было спрашивать ее. И только когда машина, гудя и ворча, взяла последний подъем и с небольшой ровной площадки открылся величественный вид на уходящие вдаль горы, ошетилившиеся сосновыми лесами, и голубую ленту реки, извивающуюся глубоко внизу, старушка осторожно тронула шофера за плечо:

— Сынок, мне здесь...

Максуд остановил машину, помог старушке выйти, сбросил на дорогу вязанку, потом поднял ее, затянул потуже веревку и хотел взгромоздить на спину старушке,

но она махнула рукой, мол, брось, присела на вязанку.

— Детей подожду,— сказала она,— а вы поезжайте, счастливого пути, и поможет вам аллах...

Дорога пошла вниз, часто петляя, Максуд сидел серьезный, внимательный и напряженный. Ехали молча. Уже внизу, закончив спуск, проехав районную автозаправочную станцию, Максуд свернул с дороги выкатил на лужайку.

— Передохнуть надо немного,— ответил он на удивленный взгляд Шалимова.— И арбуз попробовать пора.

— Какой еще арбуз? — Шалимов прыгнул на траву и глубоко вдохнул пахучий воздух.

— Астраханский.— Максуд достал из багажника большой в широкую полоску арбуз килограммов на семь, вонзил в него нож и тот с треском раскололся на две половины.

— Где ты его ... раздобыл? — произнес Шалимов, беря из рук Максуда увесистый сочный ломоть.

— В райпо привозили, на прошлой неделе,— ответил Максуд.— Вы в городе были. Взял полмешка старикам, племянникам, им арбуз слаще конфет, редкость ведь у нас...

Мимо них прошла пожилая женщина с порожней бутылкой в руке, обернулась, поздоровалась и пошла дальше, к дороге. Шалимов расположился на пригретом солнцем камне и отрезал еще ломоть. После третьего куска ему стало сытно и тяжело. Он бросил на землю плащ, лег навзничь, подложил под голову руки и незаметно вздремнул. Вздрогнул, когда услышал женский голос:

— Не спи на земле, сынок, простудишься, земля сырая, остыла уже.

Шалимов приподнялся, сел, обнял колени и положил на них подбородок.

Максуд тем временем отрезал большой кусок арбуза и подал женщине. Она взяла, благодарно кивнула.

— Что несешь в бутылке, не вино ли? — спросил Максуд.

— Керосин.

— Из автозаправки? — догадался Шалимов.

Она кивнула головой.

— За бутылкой керосина — на автозаправку,— засмеялся Максуд.

— Редко привозят в последнее время,— сказала женщина. А заправка... до нее идти всего час.

— У вас вдоволь электричества, зачем еще и керосин? — удивился Шалимов.

— В хозяйстве нужен... Ну, я пойду, спасибо за арбуз, сладкий, очень вкусный. Давно не ела.

— Возьмите внукам,— Максуд протянул ей кусок килограмма на полтора.

— И не откажусь,— сказала женщина,— спасибо, сынок, порадуя внучат.

Она уверенно, по-хозяйски пошла в гору, бережно держа на ладони правой руки арбуз, а пальцами левой крепко вцепившись в горлышко бутылки.

Шалимов долго смотрел ей вслед, потом устало поднялся и отряхнул плащ:

— Поехали.

Ущелье уже одевалось темнотой, когда вдаль появились очертания громадной горы, устремившейся к небу. Аул Цулюх, куда ехал Шалимов, укрылся за горой, которую им надо было преодолеть.

— Может, заночуем в Кардибе, товарищ Шалимов? — спросил Максуд.— До Цулюха, если ехать ночью, еще часа четыре ползти.

— Почему ползти?

— Дорога паршивая. Днем, конечно, можно на ней плясать, а ночью...

— Поэтом становишься.

— Куда там, товарищ Шалимов. Конечно, будь время, может, что-нибудь сочинил бы.

Шалимов рассмеялся и махнул рукой:

— Давай в Кардиб. Бедная моя старушка, не дожидется меня.

— Нечего печалиться, сегодня передохнем, а завтра — в Цулюхе. Честное слово, матушка ваша поругает нас, если мы ночью отправимся в этот путь.

— Поехали в Кардиб. Вижу, струсил.

Максуд ухмыльнулся,

— Струсил... Ну, ладно, пусть будет по-вашему.

В Кардиб они приехали поздно вечером и направились к дому директора школы Салиха. Салих, высокий моложавый мужчина несказанно обрадовался приезду Шалимова, три брата его, жившие по соседству, набились в гостиную комнату со своими детьми, а женщины принялись хлопотать на кухне.

— Очень рад твоему приезду, очень рад, — не уставал повторять Салих. — И вовремя приехал. Завтра идем на охоту, вовремя приехал.

Он все суетился, не находил себе места, пока Шалимов не усадил его.

— А на охоту не могу. К матери еду. Давно не виделся с ней, вот выбрал время, от отпуска урвал.

— У нас всегда не хватает для матерей времени, — Салих вздохнул сокрушенно. — Недавно мать Муртуза умерла, нет, не того, который с нами в школе учился, тот взял ее к себе в город, долго не соглашалась она уезжать отсюда, сдалась наконец, — умерла мать другого Муртуза, кандидата. Сколько лет в ауле не был, забыл запах родного очага и хлеба, горской мельницы, а теперь сидит уже около сорока дней, оброс бородой... Эх, люди.

Салих опять сокрушенно вздохнул.

— Твой пандур еще не разохся? — спросил Шалимов.

— Мой пандур всегда рад тебе служить. — Салих повернул голову. — Магома, подай.

Младший брат Салиха прошел в другую комнату и вернулся с инструментом.

Салих стал настраивать его, потом ударил по струнам, резко, жестко, и запел. Запел сильно. Голос его парил где-то высоко и вдруг опускался, не оборвавшись, не споткнувшись, а просто опускался, скользя с высоких нот на низкие, переходя мягко, мелодично. Он начинал петь, словно речитативом, обыденно, будто в непринудительной беседе передавал собеседнику что-то заветное, душевное. Потом внезапно, страстный, сильный, он снова взвизывался ввысь горячо, с жаром, с волнением, не стыдясь никого, исповедывался в своей любви.

Шалимов сидел, закрыв глаза. Ему казалось: то он поднимается над облаками, в синее бесконечное пространство воздуха, то сидит на свежем душистом лугу в кругу милых друзей. Песня очаровала его.

— Убаюкал? Проснись. — Салих засмеялся и отложил пандур. — Женщины, вы хотите уморить моего гостя голодом? Он же меня с работы снимет завтра. Подавайте на стол.

Шалимов ел аппетитно, с удовольствием, и мягкие вкусные куски баранины, и острый хрустящий чеснок, и особенно пышный, свежее испеченный хлеб. И не удержался, чтобы не похвалить:

— Чудесно испекла Айшат, молодец. Слов нет...

— Мука хорошая, — отозвался Салих, — из города привез недавно три мешка. Теперь на зиму хватит.

— Из города привез... — передразнил шутя Шалимов. — У нас муки что ли нет...

— А-то есть. Ты бы занялся лодырями из райпо. Пока расшевелиятся, выпадает снег, он нерадивых не любит, и закрывает дороги. Сам знаешь, на полных шесть месяцев. Вот и приходится экономить...

— Когда такое случалось? — в голосе Шалимова послышались стальные нотки.

— Часто случается, ты успокойся только. Твоей вины здесь нет, за всем не углядишь. Муки что ли у нас нет... если бы не было, другой разговор. Безответствен-

ных работников стало немало — это другое дело, прямо скажу — беда.

— И никто мне ничего не говорит,— сказал Шалимов, словно продолжая вслух свою мысль.

— И это плохо,— поддержал Салих.— На годекане языками чешут, а пойти кому следует сказать... Да что говорить, и я виноват, да все мы виноваты.

— При чем тут «муки мало». Здесь речь об ответственности, «муки мало»...

— Верно. Но только не гневись, дай-ка, я лучше спою тебе.

Салих взял пандур, ударил по струнам, и буйная, веселая песня, окатив сидевших за столом, взлетела под потолок и, тщетно пытаясь найти выход наружу, ввысь, затрепетала. Затрепетала на одной ноте минуту, две. И уже начинало казаться, что она поднялась туда, под потолок, надолго. И вдруг упала. И раскололась на хриплые звуки, потом на шепот и истаяла.

— Зря пропал твой талант, Салих,— сказал Шалимов угрюмо: песня его не развеселила.

— Почему пропал? Гостям пою, друзьям, жене... А помнишь, как мы в школе...

— Заливался ты соловьем, помню,— Шалимов улыбнулся.— Хлебом не корми, только пандур дай в руку.

— А в институте, помнишь, как мы пели дуэтом, особенно в ночь, у окна...

— Не будь пандура, не найти бы тебе своей Айшат.

— Это верно, не найти. Усыпил я ее песней. Ну... и нам пора спать, поздно на дворе, засиделись.

Заснул Шалимов незаметно и скоро. Проснулся он с первым петухом. Не стал завтракать, выпил только кружку буйволиного молока, уступив настоящему требованию Салиха, и, отослав Максуда вниз, стал спускаться по тропинке, крутой и покатой. Салих шел сзади, почти вплотную. Утро было холодное, ослепительное. На вершине горы сиял снег. Машина уже поджидала,

мерно урча, когда Шалимов и Салих спустились на дорогу. Друзья тепло простились, Шалимов влез в машину, и она пошла по укатанной дороге, вдоль шумливой горной речки. Необъяснимое острое желание поскорее увидеть мать овладело Шалимовым. Спустя некоторое время они свернули за крутой поворот, и взору открылась высоченная гора, ошетилившаяся сосновым лесом. Внимательно всмотревшись, можно было различить серпантин дороги, уходившей вверх. С левой стороны горы виднелся отполированный утес, напоминавший одинокого стража.

Шалимов тронул осторожно Максуда за плечо.

— Останови, передохнем перед подъемом.

Он опустил на траву и почему-то спокойно, отрешенно сказал себе:

— Я на самом деле болен... Придется уйти... Потом глянул на гору и громко крикнул:

— Максуд, где ты?

— Здесь я.

— Здесь я,— передразнил Шалимов.— Где?

— Мясо достаю.

— Какое еще мясо?

— Салих дал, в дорогу, на завтрак.

— Узнаю Салиха... Максуд, ты знаешь, чем знаменит тот утес?

— Откуда мне знать.

— С него цулюхцы бросали стариков, чтобы жили молодые. Однажды один молодой человек усадил в плетеную корзину старую мать и взвалил на спину. Когда он поднялся на утес, пот лил с него градом, а соленые слезы стекали к губам, и он слизывал их языком. Он снял корзину со спины, осторожно поставил на землю, глянул вниз и отошел. Старая мать безропотно ждала своей участи. Она долго смотрела на сына, потом тихо сказала:

— Да ниспошлет аллах тебе и твоим детям и детям

твоих детей здоровье, и пусть будет всегда в твоём доме кусок хлеба и мяса. И не забывай, сынок, что и тебя ждёт такая участь. Мы бессильны перед адатом.

Молодой человек долго сидел на земле, обхватив голую руками, казалось, он врос в землю. И мать не тревожила его — это были её последние минуты.

Наконец, он встал, взвалил корзину себе на спину и пошёл в аул.

С того дня стариков перестали бросать с утеса.

— Дикость какая-то, — отозвался Максуд.

Шалимов ещё раз взглянул на гору, нашёл серпантин дороги, который предстояло преодолеть, остановил взгляд на утесе.

Внезапно у него перехватило дыхание, он как-то лениво, без особого желания засунул руку под пиджак и стал тискать непослушными, ослабевшими пальцами грудь. И вдруг повалился на бок.

А недалеко, совсем рядом, полыхал костёр, весело трещали дрова, и Максуд быстро и умело отрезал лаковые куски баранины.

Когда Шалимов пришёл в себя, в воздухе пахло шашлыком. Он осторожно вздохнул, стараясь не причинить сердцу боль, и сказал про себя устало: «Прекрасная штука все-таки жизнь». И улыбнулся, вернее попытался улыбнуться. Максуд шёл к нему, перекидывая из руки в руку обжигающий шампур.

УЩЕРБНЫЙ ДИСК ЛУНЫ

Муртуз стоял у мельницы и вслушивался в тяжёлый утробный гул каменных жерновов. Из маленького оконца доносился запах свежемолотой муки.

Стояла осень. Вершины гор венчали снежные короны, а здесь, в низине, ещё было тепло: грело солнце, багрянец не успел тронуть густые сосновые и берёзовые леса, в воздухе остро пахло хвоей и сырой землёй.

Муртуз долго и задумчиво глядел на аул, расположенный в ложине между двумя горами, на большой фруктовый сад, заложенный в память о погибших, затем медленно — руки за спину — пошёл к аулу.

В центре аула он остановился перед гранитной глыбой. На отшлифованной стене были высечены имена и фамилии... Их было много. У Муртуза зарябило в глазах.

Внизу, из гранитной тверди, по выбитому желобу текла родниковая вода и уходила в землю, в невидимую щель.

Муртуз направился к годекану. Поздоровавшись со стариками, присел на гладкий, нагретый солнцем валун.

— Пришёл прощаться, Муртуз? — спросил седобородый старец.

— Да, прощаться, — вздохнул Муртуз, — приходится ехать с сыном к морю... Сердце разрывается. Как пред-

ставлю, что больше...—суровое, мужественное лицо Муртуза дрогнуло. Он прошептал: «Братья мои, братья...»

— Не печалься, уста Муртуз. Вон какую память ты оставил детям нашим, внукам и правнукам... Стоять ему, скажу я тебе, вечно. А с сыном ехать надо. Да и далеко едешь. Раньше до моря на ишаке или арбе и за месяцы не добирались, а сейчас что... Аэроплан или эта стрекоза за пятьдесят минут привозит.

— Да,—хрипло проговорил черноволосый хмурый горец...—Пятьдесят минут. Пока пропустишь через жернова шесть мешков зерна, можно слетать в Махачкалу и обратно. Вот как время обернулось.

— Им спасибо,—сказал старец, взмахнув посохом в сторону памятников.—Помнишь, Муртуз, гражданскую, когда выбивали бандитов Нажмутдина? Ты был худой, хрупкий в ту пору, совсем мальчишка, а дрался, как настоящий горец. Уже тогда ты показал большое мужество. Если бы не удар твоей шашки, лежать бы сейчас костям Махмуда в земле.

— Да, верны твои слова, Шамиль,—сказал тот, которого звали Махмудом,—смерть уже глядела на меня из черного глаза винтовки.

— Много полегло тогда ребят,—сказал задумчиво Муртуз.

— Шестьдесят,—отозвался коротко кто-то.—Шестьдесят несчастных.

— Почему несчастных? — спокойно, но твердо произнес Шамиль.— Храбрецов. Героев. Ты помнишь Гази-чекиста? Разве такого можно назвать несчастным?

— Гази-чекист воевал в Отечественную...

— А разве те шестьдесят уступали в храбрости и чести Гази-чекисту? Время разное, а подвиги одинаковые. Ты видел когда-нибудь, чтобы тур повернулся задом к волку? То-то. Дети наших матерей не рождаются трусами.

— Умно ты сказал, Шамиль,—произнес рыжеборо-

дый Булат, загорелое лицо которого сплошь было покрыто оспой.— Не знаю, кто как, а я не могу без боли в сердце смотреть на наших женщин, когда собирают фрукты. Они разговаривают с деревьями, как с живыми.

— Гази-чекист,—произнес задумчиво Шамиль.—Человек-легенда. Вы помните его?

— Как не помнить? — дружно ответило несколько голосов.— Могучий был человек.

— Да, могучий,—подтвердил Шамиль.—Когда Хадиял-хан со своими бандитами подстерег и убил младшего брата Гази-чекиста, последний дал клятву отомстить. Бандит узнал о клятве Гази-чекиста, и случилось так, что они встретились в лесу: громадный и тяжелый, как медведь, Хадиял-хан и Гази-чекист. Гази-чекист выхватил было револьвер, но тот хладнокровно остановил его:

— Меня убить ты сумеешь в другой раз. Опустит игрушку и не делай глупостей. Знай, что во мне говорит намус горца: в твоём роду не осталось мужчин, ты должен продолжить его. Только уговор: не преследуй нас.

— Отстать от вас, чтобы вы ночью, тайком, как волки, душили и уводили овец и коз, отбирали последний кусок хлеба у крестьянина и отсиживались в пещерах? И ты еще смеешь говорить о намусе горца? Нет его у тебя. Не будет тебе пощады, Хадиял-хан, как нет сейчас покоя от проклятий вдов и матерей, потерявших мужей и сыновей своих. Я все равно убью тебя.

Хадиял-хан ничего не ответил на слова Гази-чекиста, хмуро улыбнулся и ушел со своими бандитами в лес.

— Было это,—задумчиво проговорил Муртуз, стиснув громадные кулаки на коленях.

— И они встретились,—продолжал Шамиль.—Помните, как мы окружили банду и уничтожили ее. Жаркий был бой, что там жаркий — страшный. Немало наших мужчин полегло. Погиб и Гази-чекист. Он столкнулся с Хадиял-ханом на поляне, когда затихал бой. Выстрелили оба одновременно, и оба не промахнулись. Но Хадиял-

хан еще долго корчился от боли и стонал, умоляя пристрелить, а Гази-чекист лежал спокойно, будто уснул.

— Могучий был человек,— сказал Муртуз, играя желваками.

— ... А если ты настоящий горец, проскачи по той тропе, не пожалею своего коня,— на, бери,— нарушил установившуюся было тишину громкий голос.

Сухощавый, жилистый горец спрыгнул с разгоряченного коня, постоял, пошатываясь, в окружении ребят и тяжело сел на лежавшее у стены дома бревно.

— Ну, кто настоящий горец? Перевелись, ха-ха-ха...

— Карбуц, не продашь коня? — спросил юный голос.

— Продам.

— Дорого просишь?

— Почему дорого? Восемьсот рублей, хорошему человеку уступлю за шестьсот.

— Карбуц опять пьян,— проговорил Шамиль.— Трезвый, он никому не дает своего коня, а сейчас кто угодно может его оседлать. Добрый конь у него, умный, много раз из беды выручал.

Конь с молодым наездником в седле, храпя, помчался по улице вниз.

Муртуз поднялся, медленно подошел к Карбуцу и присел рядом.

— Продаешь, я слышал, жеребца?

Карбуц растянул в широкой улыбке рот: от него разило водкой.

— Тебе продам за шестьсот рублей.

— Не продешевишь?

— Нет, я знаю, кому продаю. Шестьсот, по рукам?

Он протянул тонкую и похожую на кору руку, но собеседник осторожно отстранил ее.

— Ты не хочешь? Брат, это же не конь, это... Это огонь, скажу я тебе, клянусь моими детьми, огонь, редкий горец имеет сейчас такого коня. Попробуй поскачи на нем, я прошу тебя. Вот и он... Я прошу тебя...

Юноша соскочил с коня и многозначительно поцокал языком.

Каурый, тонконогий конь, кося глазами, нетерпеливо бил по камню и, довольный, храпел. Его горячие бока лоснились. Муртуз провел рукой по его шее: рука была тяжела и ласкова. Внезапно одним махом вскочил в седло. Конь под ним заплясал, заржал радостно, тепло, словно обрадовался наезднику. Муртуз взял в руки повод и, резко прищипнув, пустил его с места в карьер. Он проскакал мимо мельницы, пролетел по бревенчатому мосту и устремился на тропу. Муртуз чувствовал себя молодым. В ушах свистел ветер, в груди колотилось сердце и, казалось, конь чувствовал настроение наездника.

Когда Муртуз вернулся, Карбуц вскочил с места, воскликнул:

— Муртуз, заклинаю аллахом, бери, он твой, он рожден для тебя, за пятьсот бери...

Муртуз спрыгнул на землю, передохнул, и, обняв за плечи Карбуца, улыбаясь, произнес:

— Доброго друга никому не смей продавать. Ему нет цены. Если даже не на чем спать и укрыться нечем, пусть у изголовья посапывает он.

— У меня все есть, Муртуз, кто в наше время плачет о бедности...

— Я не о бедности,— засмеялся Муртуз,— ты не понимал меня. Ну, что ж...

Он пожал плечами и пошел вниз по улице.

Спускались сумерки. В печальном небе тускло поблескивала луна.

— Ущербный диск,— задумчиво произнес Муртуз.

Да, жизнь напоминает луну, которая по неписаным законам вселенной уходит на убыль. Луна тает и исчезает с небосвода, а я ухожу в небытие. С той лишь разницей, что луна вернется, а я нет. Неужели от меня ничего не останется этой земле... Не может того быть.

Муртуз достиг перевала, остановился, передохнул. Здесь было еще светло и прохладно. Перед ним задумчиво и величественно стояли горы. Далеко внизу, в ложине, лежал аул. В его домах зажглись огни.

Внезапно Муртуз обхватил руками ствол сосны и застонал.

— Не хочу... не могу уехать,— прошептал он,— здесь моя жизнь, мои братья... друзья... Нет.

По его скуластому широкому лицу сбежала слеза, потом другая. Вокруг не было ни души. Лишь в небе висела бледная луна. Она смотрела на землю слепо, словно чего-то выжидая.

Б Е Г В Р Е М Е Н И

Поезд прогремел, и опять наступила тишина. Поезда проносились через каждые полчаса с севера на юг и обратно, сотрясая землю, как неведомые чудовища. Поезда бывали разные: товарные, пассажирские и почтовые, и вторые почему-то казались ему роднее, словно несли в себе человеческое тепло.

И когда все вокруг обволакивала тишина, притупляя мозг, душу, ему вновь хотелось грохота, и тот не заставлял себя ждать.

В открытое окно вливался запах моря: нестерпимо остро пахло водорослями...

Он долго сидел, устало откинувшись в кресле, затем внимательно, оценивающе глянул на свою работу и решил, что такой картины он еще не писал и, наверное, больше не напишет. Впрочем, он всегда так думал, создавая свое очередное полотно. Многие его работы успешно экспонировались на выставках, были приобретены музеями, и имя его произносилось с почетом и уважением. Но он этого не замечал, вернее, не хотел замечать, уйдя в мир творчества, созидания, в котором были и горькие дни разочарования и отчаяния, и счастливые мгновения.

Он потер утомленные веки, еще раз глянул на полотно и остался доволен.

На картине мчался поезд. По обе стороны насыпи стоял лес, желтый, утомленный, задумчивый, устремленный к небу, а оно, небо, мягкое и ласковое, исполосованное закатными красками пепельного цвета, переходило в золотистый, который узкой полосой сливался с горизонтом.

Он хотел назвать картину «Осень», просто и понятно всем, но какое-то подсознательное чувство подсказало ему, а потом и навязало другое название — «Бег времени», которое ему поначалу не понравилось, а затем пришлось по душе своим философским подтекстом, и казалось, что удачное название радовало его больше, чем сама работа.

«В самом деле,—думал он,—и в стремительном движении поезда, в роняющем листву осеннем лесе, и в вечернем небе — во всем ощущается неподвластный нам бег времени».

Снова прогромыхал поезд, рассеяв мысли. Он встал, подошел к окну. Метрах в пятидесяти дышало море...

Он переехал на окраину города из центра и ничуть об этом не сожалел. Соленое море, ночной порт, восходы и закаты давно привлекали его и теперь стали частью его жизни. Здесь он творил, здесь собирал друзей по случаю окончания работы, а чаще и без случая, просто распить доброе сухое вино. Здесь было спокойно, удивительно красиво, и все же чего-то недоставало для полноты жизни.

Он еще некоторое время постоял у окна, потом принял душ, оделся и вышел на улицу. Он любил одеваться со вкусом, что внушало людям невольное уважение уже к самой внешности его. И сейчас старушки, сидевшие на дворовой скамейке, тепло поздоровались с ним и с каким-то умилением долго глядели вслед, перешептывались, пока он не завернул за угол. Он прошелся по новому микрорайону, развернувшемуся вширь, поросшему, словно исполинскими баобабам, многоэтажными дома-

ми, поговорил со знакомыми, и внезапно неодолимое желание потянуло, позвало его в центр, старый, милый центр, где прошла большая часть его жизни. Недолго думая, он сел в подошедший полупустой автобус и через полчаса был на площади. Здесь он вышел и пошел пешком, бесцельно, ни о чем не думая, ни с кем из знакомых не останавливаясь. Хотелось просто побыть одному.

На город давно опустился вечер, из ламп струился лунный свет, когда он очутился у остановки маршрутного такси. Длинная очередь томила в ожидании машин. В нем проснулся художник, и он стал читать, изучать их лица. Его отвлек женский голос:

— Динго, далеко не уходи.

Он оглянулся, стал искать собаку, но ее нигде не было видно. И снова женщина повторила:

— Динго, я тебе говорю?

Чуть поодаль от него прыгала маленькая девочка, и он понял, что обращение это предназначается ей. Он глянул в толпу, поймал устремленный на девочку беспокойный взгляд женщины и признал в ней мать. Внезапно что-то знакомое вспыхнуло в его памяти. Он подошел к женщине и сказал:

— Добрый вечер, Динго!

Женщина взглянула на него, потом спокойно сказала:

— Вы меня с кем-то путаете.

— Нет, не путаю, Динго.— Он продолжал улыбаться.— Ведь ты же была Динго. Вспомни двор в лунном переулке, игру в испорченный телефон. Это было лет двадцать назад, вспомни, пожалуйста.

— Боже мой, это ты... Не может быть!

— Почему же не может быть? Я-то тебя узнал, и изменилась ты очень мало, даже вовсе не изменилась.

— А ты неузнаваем, модник и... седой, в такие годы.

— Витамина не хватает и поломанного телепона...

Она глянула на него и вдруг звонко рассмеялась. — Ты все такой же шутник, только стал крупней... Или нет?

— Ты хотела сказать — постарел.

— Хотела бы — сказала. — Она озорно взглянула на него серыми глазами, и он вспомнил большой кирпичный дом, полутемный двор и озорных девчонок, ни в чем не уступавших мальчишкам. Он приехал в город из высокогорного селения, устроился на первых порах у дяди, с утра до позднего вечера готовился к поступлению на факультет живописи так упорно и усидчиво, что только дядя, возвратившись с работы, чуть ли не силой выставлял его во двор — побыть на свежем воздухе. Здесь он и увидел ее. Стройная, крепкая девчонка первой подошла к нему, и он уже думал, что она протянет ему руку для знакомства, но она окинула его с ног до головы взглядом больших серых глаз и дерзко спросила:

— Откуда ты выискался такой хилый и длинный?

В первую минуту он растерялся, часто заморгал глазами, потом почему-то облегченно вздохнул и неожиданно для себя бодро ответил:

— Битамин не хвата...

Она удивленно подняла брови, очевидно, не поняв ответа, внезапно вскинула голову и задорно засмеялась. Ей вторили ребята из беседки. А потом они играли в испорченный телефон, а он называл его поломанным телефоном, вызывая веселый смех.

В один из поздних августовских дней, когда были сда ны все экзамены, он вынес во двор мольберт, краски и под восторженные взгляды ребят в течение четырех часов написал ее портрет, а она в благодарность за работу подарила ему книгу «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». Он долго рассматривал красивую цветную обложку, на которой были изображены девочка и собака, потом вдруг заявил, что нарисовал бы лучшую картину, и наконец выпалил:

— А что такое Динго?

— Динго? Это дикая собака, — сказала она.

— Дикая собака?

— Ну конечно. А ты не знал?

— Тогда я буду называть тебя Динго.

— Почему? — удивленно спросила она.

— Потому, что я так хочу. Потому, что это имя тебе идет... Потому, что...

— Вот еще фокусы. — Она повернулась и пошла домой, унося свой портрет.

Ему тогда было семнадцать лет, ей — пятнадцать.

Через некоторое время он перевелся на учебу в Москву, потом прошли годы, юность осталась далеко позади, и Динго с большими серыми глазами не вспоминалась, хотя почему-то ему особенно нравилось писать портреты сероглазых женщин. Спустя много лет он обосновался в южном городе, где когда-то в сказочном прошлом прожил всего несколько беззаботных месяцев, обрел имя и популярность и дарил людям радость красоты и красок...

— Динго, иди сюда, — окликнула женщина девочку.

Девочка подбежала, глянула на него большими синими глазами и прижалась к матери.

— Ну, здравствуй, Динго. Как тебя зовут по-настоящему? — сказал он, тепло глядя на девочку. Та запрокинула голову, посмотрела на маму, и, словно получив разрешение, произнесла:

— Светланка.

— Ах, вот как! Очень мило. А я-то подумал...

Девочка озорно пробежала по нему глазами:

— А знаете, кем я стану, когда вырасту? Я стану художницей и буду каждый день рисовать мою мамочку.

Девочка посмотрела нежно и преданно на маму и та, улыбнувшись, обратилась к нему: — Помнишь портрет, написанный во дворе? Забыл... Он нравится Динго и она находит, что я очень похожа. А ты забыл все-таки, принайся.

— А твоя девочка очень забавна,— сказал он, не отвечая на ее вопрос.— Презабавна.

— Как и все дети,— поправила она.

— Впрочем, и ее мать была такой же...

Он щедро улыбнулся, и то ли под его теплым добрым взглядом, то ли от нахлынувших, порой так необходимых человеку, воспоминаний юности, она тихо рассмеялась и прошептала:

— Нет, право, ты все такой же, каким был много лет назад.

— Может быть,— сказал он и, чуть помолчав, повторил,— может быть...

— Тебе тяжело живется? — спросила она осторожно.

— Нет... Пожалуй, слишком легко...

В это время подкатил легкий, юркий двенадцатиместный автобус, очередь хлынула к нему, девочка и мама помахали ему рукой, и машина умчалась.

Он некоторое время глядел на поредевшую очередь, потом заметил, что стал накрапывать дождик, и медленно направился домой. Путь был утомительно длинным, но отдавшись всецело думам об устроенности человека в жизни, о счастье, вороша прожитые свои годы, он подошел к своему подъезду, вошел в квартиру и, не включая света, опустился в кресло. Он окинул взглядом комнату, на стенах которой темнели квадраты картин, закрыл глаза, но покоя не было, он почувствовал, что ему чего-то недостает, не хватает. И только спустя полчаса, совершенно устав от непрошенных дум, вдруг понял, что ему не хватает девочки Динго! И еще неясно осознавая свое действие, охваченный каким-то беспокойством и страшным желанием видеть рядом крохотное умное существо, вышел из дому и пошел пешком к центру города. «Дети — вот что так ярко и точно определяет бег времени,— думал он.— Они рождаются и растут, встречаются и провожают весны и зимы. И земля цветет, и зелень сменяет

снега, и виски обсыпает серебро, и снова пьянит дурман разнотравья».

Он шел по полуосвещенным улицам и знал, что завтра снова пойдет на остановку маршрутного такси и снова увидит пятилетнюю Динго, обязательно увидит, потому что за незначительную частицу дня она внесла в его устоявшийся уклад жизни какую-то новизну.

Но он знал и другое, то, что время вечно молодо для людей сильной, неиссякаемой воли. Именно она, воля, вызывает в людях неистребимую потребность созидания и творчества, не давая стареть сердцу и угаснуть разуму.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

Впервые охотничье счастье улыбнулось ему. Мечтал иметь медвежью шкуру, а стал владельцем живого медвежонка.

Он вышел из лесной чащи, опустил на землю мохнатое, теплое существо, вытер фуражкой пот, струившийся со лба, провел ею по влажной шее и снова нахлобучил на голову. Потом прислонился к кряжистому стволу дерева, поставил ружье рядом прикладом на землю и облегченно вздохнул.

Еще час назад, пробираясь сквозь густые заросли с медвежонком, он понимал, какую опасность навлек на себя: разъяренная медведица пустится в преследование. Нет, он не боялся ее, он вообще не знал чувства страха. Но в чащобе трудно было рассчитывать на победу.

И сейчас он облегченно дышал, прислушиваясь к гулкому биению сердца. Еще минуту назад оно колотилось так неистово, что готово было разорваться...

На земле кувырkalся медвежонок, обнюхивая траву, сапоги, приклад ружья.

Он смотрел на этот живой комок, наслаждавшийся беззаботной жизнью, не познавший еще друзей и врагов, и теплая улыбка ложилась на его узкие, резко очерченные губы. Он улыбался одними губами, глаза оставались холодными, внимательными, настороженными. Ему не

стоило большого труда представить себе, как это забавное существо будет бегать по его квартире, застланной шкурами зверей, кувыркаться, баловаться с внучатами и недовольно ворчать на взрослых.

А потом... настанет день, когда его придется отдать в зоопарк. А в его богатейшей коллекции не будет доставать медвежьей шкуры, ради которой он предпринял это путешествие в лес. Он отправился в незнакомый, дремучий горный лес один. Сначала на попутной машине с лихим шофером мчался по узким, разбитым дорогам, сползавшим к пропасти. Затем ехал на скрипучей арбе со словоохотливым худощавым старым горцем. И часа три шел пешком, взбираясь по крутым тропинкам все выше и выше, ползая на коленях, хватаясь за кусты, припадая грудью к земле. А из головы не выходили слова горца:

— Зачем тебе медведь, сынок, не жир ли нужен? Не жир, говоришь. Так зачем же без надобности убивать его? За свою жизнь, сынок, я не убил ни одно живое существо. Даже курицу не зарезал. Улыбаешься? Что поделаешь, уж так устроен человек, он на все падок. Ел я и мясо курицы, и мясо марала, и мясо медведя ел, сынок, но убивать их сам не мог. Может, слабость это моя — не знаю.

Он хотел ответить старику, что все созданное природой — для человека. Смотреть на уток и перепелок, маралов и медведей, любоваться и восхищаться ими было бы глупо. Природа постаралась сделать человека владыкой на земле, и он пользуется своим правом и могуществом. И в этом нет никакого преступления. А что касается его, то он вышел на охоту ради медвежьей шкуры... Он хотел ответить, но воздержался: поймет ли старик правильно.

Каждый врач его отделения имел свое хобби. Седусый Филиппыч был заядлым филателистом и на этой почве сдружился со всеми ребятами со своей улицы. Зиновьевич — нумизматом, Серафимовна имела в своем архиве более трех тысяч открыток, Кефаров собирал значки, поку-

пая их у мальчишек по баснословным ценам, а новоиспеченный ассистент хирурга Вагабов сооружал из обыкновенных спичек изумительные терема, мечети, дворцы. Коллеги из других отделений смеялись, и довольно открыто, над их чудачествами. Но они не обижались: «Каждому свое», — отвечали на иронические реплики коллег. А он, главный хирург отделения, улыбаясь, а часто даже и с хохотом объяснял:

— Каждый сходит с ума по-своему.

Он был хирургом с именем. Не одну сотню людей спас от неминуемой смерти. Тонкие, уверенные, умные и сильные пальцы оперировали сердце и легкие и всегда возвращали человеку жизнь. Всегда, потому что чувство неуверенности не было знакомо им. А в свободные дни они так же уверенно нажимали на курок — и лес оглашался предсмертным ревом или стоном животного.

Охота была его увлечением, вернее, вначале была увлечением, а затем стала необходимостью. В поединке со зверем он испытывал свой характер, проверял силу и мужество, оценивал себя.

Правда, в последнее время, после перенесенного инфаркта, он уже не ходил на крупного зверя, хотя глаз его еще был меток и рука тверда. Довольствовался мелкой дичью. Но как-то за воскресным столом друзья заметили, что в его коллекции недостает медвежьей шкуры.

Был субботний вечер, друзья и коллеги сидели в его гостиной. Они собирались семьями поочередно у каждого. Пили шампанское и танцевали, ели дымящийся, ароматный шашлык и рассказывали всякие были и небылицы. Потом, который уж раз, рассматривали богатую коллекцию шкур и восхищались. И снова пили шампанское. И Серафимовна, допив бокал вина, сказала:

— А знаете, Мустафа, кажется вашей коллекции для полноты не хватает медвежьей шкуры.

Все ее поддержали.

Вечер продолжался, звенели бокалы, дом гудел от

смеха и хохота, а мысль о медвежьей шкуре не давала ему покоя.

... Сердце стало давить, появилась тошнота. Он достал из кармана куртки металлическую коробочку, открыл крышку, положил в рот таблетку. «Неужели снова начинается?» — подумал он, но без тени тревоги и страха. Потом поднял ружье и уже собрался подхватить медвежонка, как вдруг в чаще отчаянно захрустели ветки.

Из зарослей вышла огромная бурая медведица. Увидев человека, она замерла и уставилась на него. Медвежонок, до этого беззаботно бегавший по земле, вдруг со всех ног, спотыкаясь, пустился бежать к матери. Она обнюхала его, ласково, но крепко подтолкнула лапой к густым зарослям и подняла морду. В глазах ее не было ни злобы, ни ярости, лишь выжидание. Они пристально смотрели друг на друга, потом медведица стала тяжело пятиться назад. Он облегченно вздохнул, расслабился, но, глядя настороженно на медведицу, подумал: «Сейчас она уйдет — и ни медвежонок тебе, ни шкуры. А шкура, какая шкура! Чертовски хороша!..»

Звери уходили. Под их тяжестью трескали ветки.

И уже безотчетно, поймав на мушку висок медведицы и вздохнув от слова, внезапно пришедшего ему в голову, — «убийца», он нажал курок.

Ему показалось, что десятки стволов, переломившись со страшным треском, обрушились на землю. Рев, в котором смешались отчаяние и боль, вспорол тишину. Медведица встала на задние лапы, большая, тяжелая, страшная в ярости, и двинулась к нему.

«Промах», — подумал он, быстро перезаряжая ружье. — Первый промах в жизни. Значит, я становлюсь стар... В мои-то годы...»

Он прицелился медведице в голову, и в эту минуту к горлу подступила тошнота, голова закружилась, сердце забилося неровно, с долгими переборами.

Им овладело неведомое до этой минуты отчаянное

желание жить, и, сознавая, что между ним и медведицей идет поединок, нажал на курок. И свалился на землю.

Рев и грохот давно растаяли в синем небе, переплетенном ветвями деревьев. Лес погрузился в тишину. По траве бегал медвежонок. Он подкатывался к огромной медведице, визжа, облизывал ее языком, потом перебегал к человеку, обнюхивал его бледное лицо, ружье, лежавшее поодаль, бессильно тыкался мордой в охотничью сумку и снова беззаботно перекатывался по траве.

У КАЖДОГО СВОЯ ГОЛОВА...

Наконец подошла долгожданная вторая суббота января.

Мария Савельевна пришла в школу заблаговременно и с нетерпением ждала ребят, хотя до назначенного часа еще оставалось много времени. Каждые пять лет ее ученики собирались вместе, делились своими радостями и успехами. Конечно, с каждым разом их собиралось все меньше, но больше половины всегда приезжали.

Мария Савельевна медленно ходила по рядам и пыталась представить тех, кто двадцать с лишним лет назад сидел здесь за партами. Но настойчивый, дробный стук о подоконник прерывал ее воспоминания. Она подошла к окну: воробьи лихорадочно разгребали клювом снег и стучались в обитый железом подоконник, выскивая корм. На дворе — бело. Сыпал крупный снег.

Дверь широко распахнулась и в класс вошел крепкий мужчина с букетом цветов.

— Мария Савельевна, здравствуйте, милая, — пропел он басом, подошел к Марии Савельевне, обнял ее за плечи и прижался щекой к голове.

— Боже мой, Стась, на кого ты стал похож. — Мария Савельевна отстранилась, вгляделась в его лицо и счастливо засмеялась. — Бородку отрастил, пробор завел, а ходил-то вечно бритоголовым. Что так, что случилось?

— Я ученый, и должен быть похож на ученого, даже внешне...— Он весело расхохотался и снова обнял ее за плечи.

— Да подожди ты,— засмеялась она.— Защитился уже?

— Защитился. И эксперименты удались на славу. Ведь пять лет прошло с прошлой встречи. А за это время ох... сколько я успел. И в загранице побывал, на разных симпозиумах, и в лабораториях работал. Одним словом, пошел по лестнице, ведущей вверх.

— Я рада за тебя,— сказала Мария Савельевна.— А как семья-то, здоровы дети?

— Здоровы.

В класс вбежал коренастый, широкоплечий мужчина.

— Мария Савельевна, здравствуйте. Привет, Стась, ты уже тут как тут?

Он подошел к Марии Савельевне, заключил в свои лапища две ее руки, потом обнял Стася и поднял, приговаривая:

— Стал ученым, и зазнался...

— С чего ты взял, пусти, пусти, говорю...

— Да перестаньте же вы ребячиться,— сказала Мария Савельевна, глаза ее сияли счастьем.— От кого ты убежал сейчас, Муртуз?

— Заметили, видал, Стась, и это заметили. Да, убежал, хотел первым войти в класс, вырвался вперед, а тут уже ученый стоит. Сейчас войдет толпа.

И на самом деле в коридоре загрохотало, застучало и в классе появились возбужденные и радостные мужчины и женщины. Они обступили Марию Савельевну, беспрестанно целовали ее, обнимали, перебивали друг друга и сами обнимались, и смеху и веселью, казалось, не будет конца. На столе образовалась гора цветов, а под подоконником выстроились бутылки с шампанским.

— Довольно, наконец, вам миловаться,— повысила голос Мария Савельевна.— Садитесь по местам.

Мужчины и женщины под веселый смех втискивались за парты, а кто был погрузней, смутившись, присаживался на парту.

Двадцать лет назад они ушли из этого класса навсегда. Им было по семнадцать.

— Староста, кого нет в классе?— спросила Мария Савельевна.

Поднялся высокий худощавый Гейдар, когда-то он был тощим долговязым пареньком.

— В классе присутствуют восемнадцать человек. Отсутствуют двенадцать. Десять по уважительной причине. Живут в двух тысячах километрах от нас. Двое здесь, в городе.

— По-моему, один.

— Уже двое,— подал голос Муртуз.— Башир стал тоже городским.

— Так подождем его,— сказала Мария Савельевна.

— Не надо,— Муртуз нахмурился.— Не пришел вовремя — ждатель нечего.

— Итак, сейчас расскажем, ребята, чего мы достигли за пять прошедших лет. Кто первый? Пожалуйста, Муртуз Гаджиев.

— Ну, во-первых, у меня родился третий сын.

В классе раздались хлопки.

— А во-вторых, продвинулся по служебной лестнице. Стал директором домостроительного завода.

— Поздравим?— спросила, улыбаясь, Мария Савельевна.

— Поздравляем,— хором ответил класс.

— Спасибо, конечно. Но теперь буду ходить весь в шишках.

— Это еще почему?— спросил Стась.

— Не знаешь, каков спрос с домостроителей и каковы их возможности?

— А я, наконец, получила диплом доцента,— выкрикнула полная голубоглазая гладко зачесанная женщина.

— Ты осталась такой же выскочкой, Марьям,— всплеснула руками Мария Савельевна.— Ведь можно же руку поднять. Сама-то требуешь у студентов порядка? Леша, а у тебя что? — спросила она мужчину, сидевшего за задней партой.

— Никаких изменений. Кручу баранку.

— Как это никаких? — толкнул его в бок сосед.— Как это никаких?

— Ну, пересел с грузовой машины на пассажирский автобус. Да и только.

— А шабашки не бывает? — шепнул сосед.

— Ну, Рудик, ну, дьявол, погоди... Тише, услышит ведь, стыдно.

— Рудик, что вы там шепчетесь? — спросила Мария Савельевна.

— Так это я ему подсказываю, о чем вспомнить. У него с памятью что-то неважно...

По классу прошел смешок.

— А он мне — «У каждого своя голова на плечах».

Теперь уже засмеялись открыто, громко.

— А ты почему о себе ничего не скажешь? — спросила учительница.

— Да у меня изменений не бывает. Хотел бы, очень хотел бы, да не бывает. Как назначили директором птицефабрики, так по сей день и кудахчу с курами.

— А хотел бы кукарекать? — спросила Марьям.

— Брось,— пугливо отмахнулся Рудик.— Один петух на десять тысяч кур...

Отдышавшись от смеха, Мария Савельевна утерла ладошкой слезы и сказала с сожалением:

— И ни одного литератора. Неужели я не смогла привить любовь к своему предмету?

— Почему же? — удивился Стась.— Мы разбираемся в литературе, с упоением читаем ее. Ну, а чтобы писать — нужен божий дар. Значит, его не было ни у кого.

— Был он у Башира,— сказала Мария Савельевна.—

Ведь был же. Хорошие стихи писал. А стал ветеринарным врачом. Надо же...

— Если бы только ветеринаром... — пробурчал Муртуз.

— Что ты сказал? — обратилась к нему Мария Савельевна.

— Да я так, бурчу себе, да и только.

Кто-то включил транзистор, по классу разлилась мелодичная музыка.

— Еще рано, Серж, я слышала, ты получил премию за проект, почему же скрываешь от нас? — спросила Мария Савельевна, наклонив голову набок, словно прислушиваясь к чему-то.

— Сергей Аполлинариевич, вам слово,— подтолкнул неказистого, щупленького мужчину Стась.— Ишь ты, скрываешь свою премию? Всегда ты был скрытным. И незаметным.

— Ну что вы, ребята,— тоненько и быстро заговорил Сергей Аполлинариевич.— Так, набросал проект жилого квартала с девятиэтажными домами, одобрили, приняли. Вот и все.

— Быстро,— заметил Леша.

— Да, быстро,— подтвердил Сергей Аполлинариевич.

— Быстро на словах получилось, говорю,— пояснил Леша.— А сколько лет проталкивал свою идею?

— Да сколько? Недолго. Года два-три.

— Ну надо же! — удивилась Мария Савельевна.— Что так? Или недоделки были?

— Все было верно... На практике иногда такое случается.— Сергей Аполлинариевич бросил на Лешу злой взгляд и выставил за спину кулачок. Леша прыснул со смеху:

— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...

Вечер продолжался. Каждый говорил о себе, потом завязался спор, перебивали друг друга, вспоминали

прозвища, Марии Савельевне казалось, что она вернулась на двадцать лет назад.

Потом разливали шампанское, пели песни, слушали музыку, танцевали, дурачились, забыв о возрасте, титулах и служебных положениях.

Потом гурьбой высыпали во двор, играли в снежки, и шумные, покрасневшиеся, провожали Марию Савельевну до самого подъезда, и каждый целовал ее в холодные щеки.

И долго еще не могла уснуть Мария Савельевна в холодной постели, безвзвучно плача от радости.

* * *

В воскресенье утром, быстро управившись по хозяйству, Мария Савельевна отправилась в магазин. Со вчерашнего вечера у нее было приподнятое, праздничное настроение.

В магазине, расположенном по соседству, мяса не оказалось, и она поехала в центр города на троллейбусе. В центральном гастрономе, большом и красиво отделанном мозаикой, было шумно. В мясном отделе вытянулась очередь. Пристроилась и Мария Савельевна.

— Что же вы мне одних костей наложили, — раздался вдруг от прилавка женский голос. — Я у вас мяса прошу, а не костей. Безобразие. Сейчас вот потребую книгу жалоб...

— Гражданка, ну зачем так сердиться, если каждая из вас будет на меня кричать, я окончательно оглохну.

— А вы не подсовывайте кости, никто и не будет кричать. Не велико удовольствие шум поднимать.

— Я согласен с вами. Вы правы. Но скажите, пожалуйста, куда мне кости девать? Вот, видите, преотличный кусок баранины, но с костью. Как быть? Отделить? А потом? Куда девать? Вы меня тоже поймите.

— Продавайте их отдельно.

— Не задерживайте, времени нет стоять, — зашумели в очереди. — Не хотите брать — отойдите от прилавка. А вы, продавец, лекции не читайте. Вы отпускайте, да поживее.

— Вот видите, и объяснить не дадут, — заключил продавец. — Все торопятся. Ну, вот вам отличный кусок, и кость небольшая...

Марии Савельевне голос продавца показался знакомым. «Где я его слышала, — спросила она себя, — ну точно, очень даже знакомый».

И лишь когда уже была к прилавку и увидела наконец продавца, она вздрогнула, потом вся съежилась и почему-то стало стыдно. Словно она совершила что-то предосудительное.

За весами стоял Башир. Он ловко орудовал ножом, легко поднимал и подбрасывал тяжелые куски мяса, почти безошибочно отсекал нужный покупателю вес.

Не может быть, не может быть, чтоб это был Башир, ведь он же не мясник, он ветеринар, а этот... — лихорадочно думала Мария Савельевна. — Не может быть...

Но за прилавком стоял все-таки Башир, правда, заметно поседевший, потучневший, и под глазами виднелись синие мешки. Наверное, болен подумала Мария Савельевна, не почками ли, или печень... Но тут ее мысль перебил шамкающий старушечий голос.

— Шынок, у меня жубов нет, ты мне такую кошть шунул. Ну не стыдно тебе, а?

— Бабуля, что мне с вами делать? — вздохнул продавец. — Ну ладно, я положу вот эту косточку, для бульона, честное слово, бабуля, из него бульон получится превкуснейший.

Наконец, подошла очередь Марии Савельевны. Она попросила килограмм для шашлыка. Башир отвесил кусок баранины, подкинул кость, быстро завернул в бумагу и положил на прилавок, не подымая глаз. И только бросил:

— Следующий...

Мария Савельевна положила попку в авоську, отошла в сторонку, прислонилась к стенке. Она не могла идти. Казалось, ноги приросли к полу. На нее бросали тревожные взгляды, предлагали помощь, но она отрицательно качала головой. И продолжала стоять.

Мария Савельевна не помнила, сколько времени простояла в магазине. Мясо кончилось, очередь исчезла, продавец расчистил и вытер прилавок, устало присел на табуретку и увидел старую женщину.

— Мария Савельевна!

Мария Савельевна как-то виновато и горько улыбнулась. Он выскочил из-за прилавка, подошел к ней.

— Мария Савельевна, здравствуйте, как долго я вас не видел. Вам, наверное, мясо нужно. Подождите, я вам дам прелестнейший кусок.

— С костью, — добавила Мария Савельевна.

— Зачем же, — сказал Башир, не поняв иронии, — прелестнейший...

— А я уже взяла, с костью.

— У кого?

— У тебя, Башир.

Он удивленно уставился на нее.

— Ну, конечно, у тебя. Ты ведь не глядишь на покупателя. От стыда, наверное. Ты же работал ветеринарным врачом в районе. Пять лет назад ты приезжал на наш вечер врачом, — горько сказал Мария Савельевна. — А вчера не явился. Стыдно было?

Башир не ответил. Мария Савельевна посмотрела ему в лицо: оно было одутловатое, у глаз и губ появились морщины. А ведь когда-то Мария Савельевна любила этим лицом: тонким, строгим. Как время жестоко к человеку. А не сам ли человек жесток к себе?

— Ты стал мясником, Башир?

— Что вы, Мария Савельевна, какой из меня мясник, вы же видели... Заведую мясным отделом. Продавец за-

болел, пришлось заменить его, рубить мясо. Башир замолчал, потом тихо спросил:

— А ребята ждали меня?

— Ждали... Ты был ветеринарным врачом. Ничего не пойму.

— Из района надо было уезжать. Климат не подходит жене. Вот и переехали в город. А устроиться на работу... Конечно, можно в научно-исследовательский институт, да мало ли мест. Только жизнь, Мария Савельевна... она стала сложной штукой. У меня ведь шестеро детей, жена болеет. Скажите, а ребята ждали меня? — снова спросил он.

— Ждали, Башир.

Мария Савельевна отстранилась от стены.

— На следующий вечер придешь?

— Приду, Мария Савельевна, честное слово, приду. Я вчера весь день ходил, ну, сам не свой. Душа рвалась туда, к вам, в школу. И еще как-то на неделе с Муртузом повздорили. Мораль мне читал, как следует жить, и как не надо. Будто я кого-то ограбил, обсчитал. Ну, скажите, Мария Савельевна, разве стыдно работать завмагазином, продавцом... Или я отстал от времени, или стал глуп? Не знаю. Если судить по Муртузу — стыдно.

— Нет, почему же. Я думаю, и Муртуз такого не скажет. Но ведь ты же ветеринарный врач. — Мария Савельевна замолчала, потом тихо проговорила: — Ветеринарный врач. Поэтому Муртуз не выдержал и наговорил тебе...

Мария Савельевна медленно пошла из магазина. Башир шел рядом, в белом, местами вымазанном, халате. На улице он взял двумя огромными ручищами ее маленькую руку и тихо сказал:

— Вы простите меня, Мария Савельевна, что так получилось в жизни... Может, я к этому и шел. В народе говорят: рыба ищет, где глубже... Но я работаю честно... Мария Савельевна. Прошу вас, заходите ко мне в мага-

зин, когда нужно — не стесняйтесь. Заходите, я буду очень рад вас видеть.

Мария Савельевна ехала домой и думала о Башире...

Жизнь, как сказал Башир, сложная штука. Она всегда была сложна. А может, Башир и не столь виноват перед совестью, перед жизнью, перед ней, своей учительницей?

У ГОЛУБОЙ ЛАГУНЫ

Начиналось утро.

Солнце уже повисло над морем, когда у голубой лагуны визгливо открылась дверь в бревенчатом, почерневшем доме и на крыльцо вышла женщина. Она широко раскинула руки, закрыла глаза и с упоением вдохнула утренний воздух. Потом осторожно спустилась по скрипучим ступеням и медленно пошла по песку к воде. Подойдя к берегу, она скинула халат, вошла в воду по колено, сильно оттолкнулась от дна крепкими ногами и, вся вытянувшись, поплыла в море.

Возвратилась она спустя час. Выйдя на берег, подставила солнцу лицо, упругую грудь, живот и замерла под теплыми лучами.

А еще через полчаса сюда вышла другая женщина. В длинной юбке, надетой поверх ночной рубашки, она быстро и решительно подошла к берегу, сняла с плеча узелок с бельем и, взобравшись на деревянный мостик, принялась за стирку.

— Как спалось, Наталья, здорова ли? — крикнула, она выжимая детские рубашонки.

— Недурно, Мария.

— Какая без мужика постель. — Мария засмеялась.

— Хватит тебе байки-балалайки рассказывать, пора пристраиваться к жизни.

— А я живу, Мария, и лучшей жизни не желаю.

— Не криви душой, голубушка. Живу... С рыбками своими, что ли живешь? Рыбки тебе семью не составят, постель не согреют. Замуж надо выходить.

— А я не жалуясь.

— А хоть и жалуйся, кто тебе поможет в сердечных делах? Сама должна... — Мария нагнулась и стала шумно полоскать белье. — Наша бабья доля, голубушка, рожать детей. Каждое здоровое дерево должно цвести и плодоносить; ну, а если оно больное — тогда и спрос другой.

Она выпрямилась, свободно вздохнула.

— Вот ты стала ихтиологом, ученой, а не завела семью. Я окончила институт, вышла замуж за Володина, нарожала ему сыновей, а сама застыла, как говорят сейчас, в интеллектуальном развитии.

От поселка к берегу с криком и смехом бежали голые мальчишки. Их было пять, старшему около восьми лет. Вот они дружно плюхнулись в воду, подняв облако брызг.

— Наталья, зайди вечерком, буду ждать. Сережка, гляди в оба за братьями, ступите дальше — уши надеру.

Мария собрала выстиранное белье, связала в узел, вскинула на плечо и пошла мягкой, плавной походкой.

Наталья долго глядела на резвившихся в воде мальчишек, потом накинула халат и пошла к дому. У крыльца она остановилась, присела на ступеньку и опустила лицо на колени. «Ишь чем гордится», — сказала она себе, — у нее Володин, подумаешь. У меня тоже был... был Леша... да, был... я испугалась его любви, убежала... убежала от него, от себя... куда, к кому? Да разве убежишь от себя... И чего я испугалась... Может, я не понимала самую себя, не разобралась в себе...»

Она закрыла глаза, напрягла память и вспомнила Лешу и тот памятный день.

— Прости. И прощай, — сказал он и шагнул к двери.

— Зачем же так? — она сделала удивленное лицо. — Я ведь тебя не обидела.

— Я должен был и этого ожидать?

— Боже мой, но я не могу так скоро... Я не могу себя заставить... Это должно прийти само...

Он широко улыбнулся, от чего засветилось его красивое лицо, и повторил:

— Поэтому прости и прощай.

— Ладно, пока, — сказала она.

— Нет, прощай. И разберись в себе.

Он резко повернулся и вышел, сильно рванул за собою дверь, но она затворилась бесшумно...

Наталья тряхнула головой, но воспоминания стали захлестывать ее и она прикрыла веки.

Она капризничала, дерзила, и путалась в своих чувствах.

— Знаешь, Шамов, сказала она однажды, когда он провожал ее домой, — наш удел — дети, кухня, уборка... Нет, не прельщает меня все это. И почему я родилась женщиной...

— Эмансипация женщины зашла слишком далеко, — буркнул он.

— Ну конечно, вам-то что до нашей участи — пришли домой на все готовое, отдохнули, ушли, а мы, как белки в колесе, — ответила она.

— И что же ты предлагаешь? — снисходительно улыбнулся он.

— Ничего, Шамов, — она дерзко взглянула на него. — Ровным счетом ничего. Просто я не хочу такой жизни.

— А какой ты рисовала себе жизнь?

— Хочу быть самостоятельна и вольна. Как птица. Разве можно назвать жизнью то, как я живу? За каждым движением, за каждым словом следят дома, мочи нет. Не так оделась, не то сказала, не так взглянула, не вовремя пришла, боже мой, как все надоело. Уехать бы куда-нибудь...

В другой раз она резко и со злостью вымолвила:

— Я, наверное, никогда не выйду замуж.

— Почему же? — удивился он.

— Неуживчивая, Шамов, характер у меня неважный, вот так-то. Прекрати со мной свои встречи, для тебя же будет лучше.

— Почему ты пытаешься представить себя в дурном свете? — сказал он.

— Вот еще, — прервала она. — Какая есть. Не нравится — не встречайся.

— Я чем-то расстроил тебя?

— Слушай, Шамов, — отрезала она грубо, — почему ты вечно выпячиваешь себя — я, я, я. Ты только о себе думаешь, для тебя не существует никого, кроме тебя самого. Твои радости, твоя печаль, твои думы, твои успехи — все твои, твои, твои. Эгоист ты, Шамов, замечаешь ты это?

Он стоял ошарашенный, не смея произнести ни слова, потом, выждав паузу, спросил тихо:

— Какие-нибудь неприятности у тебя?

— Отстань от меня, ради бога, — сказала она и пошла домой, а он остался стоять, не решаясь следовать за ней.

Спустя две недели он случайно встретился с ней на улице.

— Здравствуй, Шамов, — сказала она, улынувшись, — как настроение?

— Флюгерное, — ответил он и засмеялся.

— Давно тебя не видно и не слышно, — сказала она.

— Перевоспитываюсь.

— Не ехидничай, Шамов. Как мне трудно, если бы ты знал, заели меня дома. Покоя нет.

— Родители твои правы: пора выходить замуж.

— Но если я никого не люблю?!

— Неужели ты никого не любила, никто тебе не нравился?

— Почему же, любила... несколько лет назад... хотела выйти замуж, отец не позволил.

— И где же теперь тот, кого ты любила?

— Уехал, живет за Ростовом. Он мне очень нравился. Да ладно, проводи меня, пожалуйста, домой, если никуда не спешишь.

Дом, в котором она жила, стоял на горе и подниматься надо было по каменным истертым ступеням. Сверху был виден весь город, залитый закатным светом.

— Шамов, почему ты не женишься? — спросила она вдруг, нарушив молчание.

— Жениться? Просто ради женитьбы? — удивился он.

— Почему же? Разве ты никого не любишь?

— Люблю, — сказал он.

— Секрет?

— Нет. Тебя.

— Не шути, Шамов, — она отвернулась и закатное солнце легло ей на лицо. Потом она произнесла:

— Ты мне нравишься, Шамов, — и повернувшись, пошла к дому, бросив, не обернувшись: — Не провожай.

А встретившись через несколько дней она вдруг сказала:

— Знаешь, Шамов, тебе будет со мной очень трудно.

— Почему ты решила?

— У меня трудный характер, я сама не знаю, чего хочу.

— Ты просто капризна, — уточнил он.

— Да, ты точно подметил. Мы не уживемся вместе.

Потом она была в отпуске, а возвращаясь домой и проезжая через Ростов, вдруг надумала остановиться в этом городе. Здесь жил друг ее детства, человек, которого она любила и который любил ее. Он регулярно звонил ей по телефону, а иногда вдруг неожиданно приезжал и встречал у дома...

Он открыл дверь, не выказывая никакой радости, не решительно посторонился, она вошла, окинула взглядом

комнату, уставилась на женщину, покойно полулежавшую на диване, бутылки на столике, и почувствовала себя опустошенной. Как-то сразу.

Она не слышала ни его объяснений, ни тревожных сигналов машин, она быстро шла на вокзал и плакала. И только ночью, свернувшись калачиком на полке и укрывшись одеялом, подумала спокойно и трезво: «Неужели я могла верить, что все эти годы он мог быть без женщины. Дура. Это противоречит природе».

Лешу она увидела спустя три недели после приезда. Случайно. Встреча у них была натянутой.

Однажды он пришел к ней на работу в лабораторию. Она удивленно вскинула брови:

— Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего, — сказал он.

— Что же тебя привело в такую рань?

— Выходи за меня замуж, — сказал он.

Она удивилась:

— Но я тебе этого не говорила!

— Чего? — не понял он.

— Что я люблю тебя. А просто так — я не могу.

— Просто так? — проговорил он.

— Ну-да... Ну... ты мне нравишься, но ведь это еще не любовь. И характер у меня скверный, неуживчивый. Ты сам как-то сказал, что я капризная...

— Понятно... — сказал он.

— Что понятно? Ничего тебе не понятно, Шамов, — сказала она, — ты же совсем не знаешь меня. — Она замолчала, отвернувшись, промолвила: — Шамов, давай останемся друзьями... Нужно время, Шамов, может, придет оно... Я не заставляю тебя ждать.

— Прости. И прощай, — сказал он горько и шагнул к дверям.

* * *

Наталья подняла глаза к бирюзовому морю, потом стиснула голову ладонями и заплакала.

ЕЩЕ БЫ ПАРУ МЕСЯЦЕВ, ДОКТОР

— Вот ты скажи мне, дорогой друг, честно скажи, вот рисуешь ты свои картины, потом что?

— А потомставляю на обозрение, на выставку.

— Получаешь деньги, отдаешь на выставку, что и я знаю, хотя и не слишком грамотный. Ну, а дальше?

— Дальше... Приобретает музей, если вещь заслуживает внимания. Покупают любители.

— Так-так-так... любители. Все ли любители?

— Всем не угодишь.

— А мою птицу берут все. Любишь не любишь, а есть надо. А кто может не любить птицу, скажи мне, Модест, есть такой человек? Вот ты — берешь птицу?

— Так, изредка, в основном люблю баранину.

— Хотя бы изредка. Значит, ешь. А я не покупаю картин. У нас в красном уголке все стены заляпаны картинками...

— Это вырезки из журналов, наверное...

— Все равно. Скажу тебе откровенно, Модест, сын любит, правду говорю, любит. Где-то покупает альбомы, полный шкаф у него. Как-то раскрыл, смотрю — глазам не верю — голые женщины. Одна сидит, другая лежит. Ну, думаю, Музаффар, хорошего сына воспитал, голыми бабами увлекается. Посмотрел другие альбомы — нет. Потом он мне рассказывал, правда, о каком-то Ренуваре,

по-моему. А мне зачем они, эти ренувары? Мне птица нужна, чтобы кормить вас, и Ренувара вместе с вами. На голодный желудок таких женщин не нарисуешь.

Модест долго смеялся...

Палата была предназначена для одного больного. Первое время Модест ходил по больничному парку, делал зарисовки, иногда выносил мольберт. Но ослабев, стал работать в палате, пристроив все свое снаряжение и небольшой мольберт у окна. Он ощущал, чувствовал, как уходили силы. И когда однажды у него попросили разрешения пристроить в палате на неделю больного, он с радостью согласился. Одному становилось невмоготу.

Сосед оказался разговорчивым человеком. Он подолгу мог рассказывать о своем районе, о птицеферме, которой заведовал, о веселых аульских происшествиях. Но если замечал, что утомил Модеста, тут же умолкал. На полуслове. Больше всего ему нравилось вести беседы о смысле жизни. Начиналось это так. Проведя мясистой ладонью по лицу, и закрутив кончики усов, Музаффар шарил черными глазами по комнате, затем останавливал их на Модесте и спрашивал: — Дорогой друг, как чувствуешь себя? — Если Модест отвечал, «хорошо» или «недурно», Музаффар со вздохом произносил:

— Что за жизнь. Из тех десятков лет, предначертанных нам судьбой, и половину не можем прожить без болезни и в свое удовольствие. Вот ты умный человек, дорогой друг, скажи мне...

И начинались поиски ответа на вопрос о смысле жизни. Но он умел и молчать. Долгими часами мог, завороченный, смотреть, как работает Модест. Боялся шелухнуться, чтобы не скрипнула кровать. Но стоило Модесту бросить какое-нибудь слово, как он тут же, словно изголодавшись, затевал разговор.

Прошла неделя, месяц. Медицинское обследование Музаффара продолжалось, и в сердце его вкрадась смутная тревога. Она еще больше обострилась, когда однажды

ды вечером дежурный врач, отмахиваясь от наседавшего с вопросами и расспросами Музаффара, заявил, что у него обнаружили серьезное заболевание, почему и держат в больнице.

Музаффар сник. Взгляд его с каждым днем тускнел, полное лицо осунулось, но беседы о смысле жизни продолжались.

— Для чего мы приходим в жизнь? — спрашивал он Модеста и сам же отвечал. — Чтобы жить, испытать ее сладость и прелесть. Вот ты, дорогой, друг, где живешь?

— Где живу? — удивился Модест. — Дома.

— Знаю, что дома. А вот чей дом, собственный или государственный?

— Коммунальный, конечно.

— Вот видишь. А у меня собственный. Двухэтажный. Из горного камня. Восемь комнат и веранда. А во двор выйдешь — сад, а не двор. Хочешь — яблоко срываю, хочешь — грушу, хочешь — черешни. И клубника есть, и лук, и редиска. Жаль, что раньше не знал тебя. В гости забрал бы к себе, жаль, дорогой друг.

Модест задумался. У него тоже была мечта — иметь свой домик, за городом, у моря. Собрал было деньги, да жена заболела, срочно потребовалось везти в Крым. Через некоторое время поднакопил, но сын упросил купить «Запорожец». Купили и однажды врезались в придорожное дерево. Счастье, что без жертв. Машину подремонтировали, продали, да опять невезение — у соседей случился пожар и огонь перенесся к нам. Пришлось делать капитальный ремонт и обновлять обстановку. А мечта о доме не покидала его. Наверное, с нею он и умрет...

В теплый осенний день, когда вся палата была залита солнечным светом, вошла пожилая женщина с двумя большими сумками. Она поздоровалась, выложила на стол и обе тумбочки виноград, дыни, яблоки, груши, домашней выпечки чурек, несколько баночек меда, вареных кур, домашнюю колбасу и присела на кровать к Му-

заффару. Они долго говорили между собой, вернее, больше говорил он, а она беззвучно плакала и утирала платочком слезы. Потом они сидели и молчали. Наконец, женщина встала, приложилась щекой к щеке Музаффару, заплакала и вышла. Музаффар продолжал лежать.

— Хорошо мы жили,—произнес он.—Мирно и богато.

— Почему в прошлом? — спросил Модест.

— Я ей наказал продать дом и перейти жить к ее матери. У той огромный дом пустует, одна она.

— Продать? — Модест не понял.— Зачем продавать?

— Жене с маленькой дочкой у нее будет хорошо, два сына моих работают в Москве.

— Но зачем дом продавать?

— Как зачем, дорогой друг, детям надо немного денег оставить, на похороны расходы нужны. Ты знаешь, какие у нас бывают расходы...

Модест повернулся к нему, недоуменно уставился в бледное лицо и вдруг расхохотался.

— Чего заблел? Рад, что умираю, да? — прошептал с осуждением Музаффар.

— С чего ты взял, что умираешь, чужак человек.

— А что это значит — серьезное заболевание? Думаешь, если в рисунках ничего не понимаю, — дурной? Эх, дорогой друг. Серьезное заболевание... Рак это. Так бы и сказали, не тянули за душу.

— Глупости говоришь, Музаффар, малодушничаешь.

— Ну, конечно, я глупый, вы все умные. Поэтому я и отправил жену жить к ее матери. Старуха умрет, дом останется дочке. Потому что я глупый. И свой сад продаю, выращенный вот этими руками, чтобы похоронили меня с почестями, а не как-нибудь... потому что я глупый. И кушать мы все это сейчас будем, потому что я глупый. Бросай свои кисточки-мисточки, садись за стол. Пока еще глаза видят и душа просит — надо есть.

Он больше не стал слушать Модеста. Усадив его за стол, Музаффар жадно принялся за еду.

В один из дней после утреннего обхода лечащий врач заглянул в палату.

— Алиев Музаффар. Завтра вас выписываем.

Музаффар уставился на него, ничего не соображая.

— Как, уже?

— Да. Можете ехать домой.

— Домой? Умирать домой?

— Почему умирать? — удивился врач, пожав плечами.— Вы здоровы и можете ехать.

— Кто сказал, я здоров? — Музаффар вскочил с кровати.— У меня рак, вы от меня скрываете, я должен умереть.

— Что за глупости, — повысил голос врач.— Истерик. Какой еще рак?

— А серьезное заболевание? Это что по-вашему, что, скажите? — напирал Музаффар. Врач добродушно улыбнулся и вышел из палаты.

— Обманщики, не дают умереть в больнице, — метался Музаффар по палате.— Обманщики... Пойду к главному, — и он выскочил из палаты.

Вернулся Музаффар в сопровождении главврача.

— Обманщики, — шептал Музаффар, сокрушенно покачивая головой, — разве можно так. Куда я поеду? У меня нет своего дома, своего угла. Какой позор, лучше бы мне умереть. Слышишь, дорогой друг Модест, обманули меня, они и язву не нашли, а я вот очаг развел. Позор.

— Успокойся, может, жена еще не продала дом, дай телеграмму, все образумится.

— Аул меня уже хоронит, а я приезжаю живой, здоровый, и куда? В тещин дом? Позор...

Он замолчал, лег на кровать, свернулся калачиком и притих.

— Как ваша работа? — обратился главврач к Модесту.— Завершается? Честно признаться, мне нравятся ваши полотна.

— Seriously? — В глазах Модеста мелькнула радость. — Многие из них вызывают споры.

— И прекрасно. Споры вызывает то, к чему люди равнодушны.

— Безусловно. Но есть вещи, которые принимаются безоговорочно.

— Есть. И все-таки мне нравятся спорные.

Модест искоса глянул на главврача. Успокаивает, или льстит? Но морщинистое, старое лицо было серьезным.

— Вы покажете мне вашу работу? Или выпроводите?

Модест подошел к мольберту и осторожно снял с него простыню. Главврач глядел долго, взгляд его застыл, казалось, он перестал дышать. Потом он тихо сказал:

— Как же так, и я не знал...

На холсте был нарисован он во время операции. Не в анфас, не в профиль. Снизу, таким, каким его видит больной, оперируемый. В момент наивысшего напряжения. Взгляд его был решителен, даже жесток, но в уголках глаз трепетала тревога, страх за жизнь пациента. Это было непостижимо, необычно, ново. Большое лицо, склоненное в работе, дышало жизнью.

— Вы же не видели меня в работе, — проговорил главврач. — Вы были под наркозом...

— Видел... под наркозом, — сказал Модест.

— Вы, кажется, превзошли себя, — прошептал главврач.

— Я еще не закончил ее. Скажите, сколько мне осталось жить? — спросил тихо Модест. — Скажите честно.

Главврач сидел, прикрыв глаза ладонью.

— Недели, две, три? — снова спросил Модест.

Главврач неопределенно пожал плечами.

— Мне бы еще пару месяцев, доктор, — просительно проговорил Модест. Он устало опустился на кровать и глядя на свою работу, повторил: — Мне бы пару месяцев.

СОВЕТ ТОУФИКА-БУБЫ

Тоуфик-буба сполз на пол, поправил постель, перевозимая боль, опять вскарабкался на кровать, подогнул под себя ноги и стал совершать намаз. Со словами «Аллах бисмиллах рахман рахим» у него из горла вырвался придавленный стон и он бесшумно повалился на бок.

За окном догорал закат.

— Что тебе ниспослал аллах, старик? — Нариман, улыбаясь, вытянулся, от чего натужно заскрипели пружины койки, неосторожно задел спинку кровати и взвизгнул от острой боли, пронзившей тело.

— Чтоб твоему аллаху пусто было, чтобы он остался без пальцев... — Нариман глянул в сторону Тоуфика-бубы, внезапно вскочил и поскакал на одной ноге к его кровати:

— Старик умер, старик умер!

Высокий, крутоплечий, он поднял старика, словно младенца, уложил в постель и громко крикнул:

— Зовите дежурного!

— Оживает, — тихо произнес Салман, стоявший за спиной, — оживает, слава аллаху...

Тоуфик-буба застонал, с трудом разлепил веки, и глядя в потолок, прошептал:

— За что меня так жестоко карает аллах... что я совершил предосудительного, грешного... За всю свою дол-

гую жизнь ни разу не захворал... И вот на старости лет, когда одна нога уже в могиле... О аллах, лучше бы ты меня послал к моим праотцам...

Нариман глянул на маленькое сухое лицо старика, заросшее короткими седыми волосами, встретился с голубыми глубоко посаженными глазами, улыбнулся и посккал к своей койке. С шумом опрокинувшись на спину, он зевнул и пробурчал:

— Аллах глух к твоим мольбам, старик. Ты уж сам позаботься о себе.

— Чепуху несешь, парень,— Салман сел на свою кровать, вздохнул.— Молод, кровь кипит, а жизнь не с того конца познаешь. Все мы дети аллаха...

— Тоже, правоверным стал,— Нариман раздельно, язвительно повторил: — Пра-во-вер-ный. — И зло засмеялся.

— Э, нечестивец, не оскверняй имя аллаха,— послышался слабый голос Тоуфика-бубы.

— Ты слышал, старик, он правоверный...

— Грех смеяться над верующим, сынок. Надо уважать всякого человека, потому, что он рожден человеком.

— Правильно говоришь, Тоуфик-буба... Чему только их ни учат теперь, а уважение к аллаху... эээх,— Салман зло ударил костылем о пол.

— Прекратите базар,— прокатился бас с четвертой койки.

— Болтают о всякой чепухе, покоя нет...

Наступила тишина. Тоуфик-буба долго смотрел в потолок, потом тихо произнес:

— Все от аллаха, всему жизнь и смерть дает он. Тебе бы знать коран... Мудрая книга, сынок. Не грех ее знать и молодым: вреда никакого, а пользу может принести.

— Нам она ни к чему, старик,— тихо ответил Нариман.— Пичкать голову всякими хабарами.

— Это ты зря,— донесся бас с четвертой койки.— Старик прав. Знать надо все.

— И этот нечестивец подал голос,— пробурчал Салман и собрался было выйти из палаты, но его остановил голос Наримана:

— Не могу понять, с каких пор деляги и спекулянты стали верить в аллаха, а аллах покровительствовать им.

В горле Салмана что-то забулькало, зашипело, потом он с силой выдавил кашель и закричал, весь побагровев:

— Спекулянт ты, твой отец, весь твой род!.. кепек оглы... Ни капли стыда, ни совести не осталось у тебя. Таким ли думал вырастить тебя старый Самед, мир праху его. Я отдал столько лет своей жизни торговой работе, а этот нечестивец...— Салман повернулся к Тоуфику-бубе, сверкая маленькими черными глазами и раздувая и без того большие ноздри, под которыми торчали, как пики, черные густые усы.— Это я дожил до такого дня, что меня спекулянтом обозвали!.. Аллах тебя покарает за это, о аллах...— Он поднял лицо кверху и, стуча костылями, вышел из палаты.

— Все мы дети аллаха, сынок.— Тоуфик-буба в другое время прочел бы назидание и тому, и другому, назидание, которое у него походило на сказку из «Тысячи и одной ночи», но сейчас не было сил, да и мысли заняты другим: он не хотел идти под нож хирурга, да еще на восьмидесятом году жизни. Его тяготила больничная обстановка, и он вот уже несколько дней тоскливо пел тихим хриплым голосом: «Эзиз даглар, эзиз даглар»... Будь он моложе хотя бы на двадцать лет, то обязательно сбежал бы куда глаза глядят, только бы не под нож... Какой срам! Да еще этот больничный халат, эти соседи по палате, зубоскалящие по всякому поводу и без повода...

— Спекулянт, да еще какой,— сказал Нариман.— В соседнем от меня ауле живет. Дом, как крепость, двор ломится от фруктов. Забор высотой в два метра. Каждую осень уезжает на Урал, на Север, торговать своим добром, а магазин на замке. Разнесет слух, что едет желу-

док лечить и исчезает месяца на два. Разве твой аллах так велел людям жить?

— Не гневи аллаха,— простонал Тоуфик-буба, схватившись за живот. От острой боли на лбу выступила испарина.

— А, ну тебя, старик,— Нариман в сердцах повернулся к стене,— с твоим аллахом. Почему-то он не вылечит тебя до сих пор. Темнота...

За дверью послышался стук, шарканье ног, затем в палату вошли медсестры с носилками.

Тоуфик-буба побледнел, оторвал руки от живота и замахал на медсестер:

— Аллах... Не дай мне взять на душу грех, избавь меня от этих женщин...

Но они, не обращая внимания, осторожно подняли его, уложили на носилки и пошли по коридору. Тоуфик-буба лежал без движения, затаив дыхание и закрыв глаза: он готов был сгореть от стыда и позора. Второй раз он попадал на носилки помимо своей воли. Раз в ауле, когда за ним приехала скорая помощь, и вот сейчас... Тоуфик-буба чувствовал, как его внесли в кабинет. Он приоткрыл глаза: медсестер не было. Кабинет пуст. Он осторожно встал, отворил дверь, крадучись, бочком вышел в коридор и, опустив голову, засеменил к своей палате. Войдя под удивленные взгляды соседей, он лег на кровать и с головой укрылся одеялом.

— Если меня не обманывает чутье, наш старик сбежал... Ха-ха-ха...

— Э-эх, неудачливый сын почтенного отца,— Салман, стоявший в дверях, горестно и сокрушенно вздохнул.— Ушел, не убежал, а ушел. Аллах увел его из-под ножа этого лопухого Марка Наумыча.

— Ты на что намекаешь? — раздался бас из угла.— Прав Нариман, оказывается, у тебя низкая душонка, тьфу...

— Что вы все на меня взъелись? Чем я не угодил?

Чтобы божья кара пала на вас...— закричал Салман, брызгая слюной.— Разве я думал оскорбить чем-то этого мучителя... Э-э-э— врача.. Вот он отрезал мне полноги я же ничего не сказал...

— Тебе бы обе отрезать,— пробубнил в подушку Нариман и зажал уши: он понял, что сейчас полется брань.

Тоуфик-буба стянул с лица одеяло, окинул взглядом палату и тихим, назидательным тоном произнес:

— Если хотите знать, да простит нас, грешных, аллах, род человеческий пошел от них. И пророки у нас одни. Да и будет вам известно, что Сулейман и Дауд не кто иные, как Соломон и Давид... Ооо, аллах...

— Разве я что-нибудь плохое сказал? — вкрадчиво произнес Салман.— Не оскорбил, не обидел. А впрочем... — он на минуту замолчал, сощурил глаза.— Ты почему убежал из операционной, Тоуфик-буба? Не от гяура ли?

В коридоре послышались приглушенные возмущенные голоса. Потом в палату вошли медсестры, беззлобно ругаясь, уложили Тоуфика-бубу на носилки и понесли.

Все это произошло так быстро, что он не успел вымолвить ни слова, только испуганно и тоскливо поднял вверх, а потом совсем закрыл глаза. Он открыл их только тогда, когда его положили на операционный стол.

Над ним висела огромная лампа, по обе стороны стояли люди в белых халатах.

Тоуфик-буба горестно вздохнул и прошептал:

— О аллах, прости меня, старого, что я взял на себя тяжкий грех...

Из глаз выкатились слезы и поползли по щеке к уху.

— Почему вы боитесь, отец? Ничего страшного с вами не случится. Вот вырежем лишнее, и будете жить еще сто лет...

Тоуфик-буба увидел над собой низко склоненное лицо. Оно было красиво. И большие карие глаза, и полные по-девичьи губы, и подбородок с ямочкой — все дыша-

ло добротой. Только уши... они не понравились ему: уши торчали в стороны, как ручки кастрюли.

— Я верующий человек, сынок,— тихо проговорил Тоуфик-буба.— Не подобает мне на старости лет лежать на этом столе под такой лампой.

— Верующий, говорите? Ну, что же, все мы верующие, без веры, жить нельзя.

Тоуфик-буба насторожился: не ослышался ли он, не ужели это говорит доктор? Он широко раскрыл глаза и встретился взглядом с доктором.

— Да, да отец, без веры жить нельзя.

— Правильно, сынок, верные слова говоришь,— не сдержавшись, прошептал Тоуфик-буба.

— Только бог-то у каждого свой.

— Аллах, сынок, только один...

— Считают так, а на деле? Вот ваш сосед по палате, Салман, разве он верит в твоего бога? Для него бог — деньги. Дневная выручка. Вот для Наримана бог — правда.

— Но ведь ты не мюэлим, сынок, а будто заглянул им в душу...

— И у вас свой бог, и этот бог — честь.

— Эээ, что говоришь. Честь тоже дается аллахом. Все от аллаха.

— Я тоже верю, отец. Мой бог — вот они.— Он поднял обе руки, растопырив пальцы.

Тоуфик-буба посмотрел в улыбающиеся большие карие глаза, устало вздохнув, сказал:

— Аллах у всех должен быть один, сынок. И все от аллаха. Он сотворил нам умные руки и деньги... Да простит он меня, делай свое дело, сынок...

Тоуфик-буба закрыл глаза и весь напрягся, чтобы не закричать от боли. Но ее не было. Он ощутил слабое давление на живот, затем услышал знакомый твердый звук, будто разрезали высушенную буйволиную кожу. Потом уснул.

Тоуфик-буба сидел на веранде своего двухэтажного дома и, блаженно улыбаясь, грелся в лучах остывающего ноябрьского солнца. Глаза его под низко опущенной на лоб папачой были закрыты, между пальцами скользили черные шарики четок. Он изредка открывал глаза, оглядывал двор, по которому степенно вышагивали индюки и вприпрыжку бегали куры, и снова закрывал веки. Большая белая овчинная шуба, нагретая солнцем, навевала дрему. По улице протарахтел трактор, потом, разрезав тишину, промчались несколько машин, оставив в воздухе звуки зурны, дробь барабанов, восторженные крики...

— Дай вам аллах счастья,— прошептал Тоуфик-буба, поняв, что мимо него проехала свадебная процессия.

Потом опять настала тишина.

Тоуфик-буба открыл один глаз и глянул во двор: у горки дров кот играл с мышью. Он подталкивал ее лапой, перекачивал по земле, захватывал в рот, потом выпускал и снова подталкивал... Устав, видимо, от баловства, кот прихлопнул мышь лапой и лег напротив, уставясь на нее. Внезапно мышь юркнула в дрова. Кот метнулся за ней, ударился головой о поленья, забегал вокруг...

— Эх-хе-хе-хе, эх-хе, стар, из ума выжил эх-хе-хе,— забормотал Тоуфик-буба, давась от смеха, потом вытер ладонью навернувшиеся на щеки слезы и закрыл глаза.

Его уже клонило ко сну, когда кто-то схватил его за рукав шубы, затеребил, приговаривая:

— Проснись, буба, проснись. Сабир-буба умирает.

Он разлепил веки, протер их ладонью. На него испуганно смотрел внук, семилетний Аслан.

— Что за вздор. Я его недавно верхом на лошади видел, а ты...

Но тут же вспомнил, что видел-то уж не так недавно, а до того, как был увезен в больницу.

— Честное слово, умирает, я сам видел, я ходил

к Абакару, а он говорит — буба умирает, сердце кто-то ему давит...

Тоуфик-буба встал, засунул ноги в азиатские калоши, взял в руку толстую дубовую палку и засеменял, перебирая четки. Он осторожно спустился по деревянным ступеням во двор, у ворот остановился и, не оборачиваясь, крикнул:

— Ты побудь дома, Аслан!

Тоуфик-буба вышел за ворота и, пригнувшись, медленно пошел по улочке вверх. Все эти дни он ходил не разгибая спины, боясь, что швы, наложенные доктором Марком, разорвутся. Дойдя до ворот дома Сабира-бубы, он остановился, передохнул, снял папаху, вытер со лба испарину, потом опять надел на бритую голову и вошел во двор.

В углу двора невестка Сабира-бубы Гюльназ, красивая, с продолговатым лицом молодая женщина, возилась с телятами. На ее спине покоились, как змеи, две длинные толстые косы. Да, она же была первой красавицей аула, — вспомнил Тоуфик-буба и, улыбнувшись, сказал:

— Мир вашему дому, дочка.

Женщина подняла голову, синие глаза ее были заплаканы, лицо осунулось.

— День добрый, Тоуфик-буба, проходите в дом, я только-только вышла от него...

Тоуфик-буба медленно поднялся по ступенькам на веранду, вошел в комнату, сбросил у дверей калоши, приставил к стене палку, прошел к подушкам, уложенным вдоль стены, и сел на одну из них. На кровати, укрытый шелковым одеялом, лежал старик.

«Эээ... как тебя свернула болезнь», — подумал Тоуфик-буба, перебирая четки: еще совсем недавно полное и румяное лицо Сабира-бубы теперь отекло и пожелтело.

— Салам аллейкум, Сабир. Да возвратит аллах тебе силы. Я слышал, ты себя скверно чувствуешь...

— Ва.. аллейкум... салам, — тяжело, с длинными паузами произнес Сабир-буба. — Какой-то аждаха поселился в мою душу, аллах его заberi, то сжимает сердце, то разжимает. Что делать — не знаю. Посоветуй, Тоуфик...

— Не знаю, что и посоветовать, аллах велик и всемогущ, да ниспошлет он тебе здоровье.

— Э... ээ... ооо, — простонал Сабир-буба, побледнев и скривив рот. — Ооо, опять... схватил...

— У меня сердце никогда не болело. Не могу себе представить, ума не приложу, кто может сердце сжимать, — Тоуфик-буба провел ладонью по лицу, задумался. — Снадобья принимал какие? Если нужно, Фирузу пришлю. Как рукой снимет...

— Ооо... разное пил... много пил... А аждаха давит и давит. Видно, Тоуфик, он пришел по мою душу.

Помолчали. Тоуфик-буба опустил голову, потом тихо, но убедительно сказал:

— Значит, надо ехать к Марку... Да простит нас аллах за отступничество.

— Что такое Марку... ооо, давит, Тоуфик, как буйвол давит.

— Доктор он, Сабир, хороший доктор..

— Не говори так, или ты выжил из ума на старости лет... ооо... Тоуфик, сам взял грех на душу и меня тянешь в яму...

— Ну и умрешь, отдашь душу аждахе.

— Доктор неверующий... И Фирузины снадобья не помогли... ооо.

— Ты верно говоришь, Сабир, только доктор Марк тоже верующий.

— Э-хе-хе, оо-хее, ээ... — засмеялся Сабир-буба. — Семьдесят лет живу, мои уши не слышали такой небылицы.

— А теперь слушай. У него тоже есть аллах, свой, правда, но есть.

— Свой... какой такой свой, Тоуфик... Ты, я вижу, на старости лет свихнулся. Оооо, давит, проклятый аждаха. Верит, говоришь.

Оба замолчали. Тишину нарушали лишь слабые стоны да перестук четок.

Потом Тоуфик-буба, опершись рукой о пол, встал, за семенил к двери, опустил ноги в калоши, взял палку:

— Подумай, Сабир, жить и червь тоже хочет.

Затворив за собой дверь, он спустился во двор, зажмурился от яркого солнца и, подойдя к женщине, проговорил:

— Как же это, дочка, его скрутило... Такой был крепкий, веселый... Да, на все воля аллаха...

Женщина всхлинула:

— Медсестра сделала уколы... Он кричал, не позволял. Мамед заставил...

— Да-а-а, на все воля аллаха,— повторил Тоуфик-буба и пошел к выходу. Остановившись у ворот, не поворачивая головы, он тихо сказал:

— Дочка, все-таки его надо отправить в город, в больницу. Пусть Мамед повезет его.

И вышел на улицу.

Он ступал осторожно, не разгибая спины, чуть прищурив глаза, волоча одной рукой за собой дубовую палку, а другой перебирал черные шарики четок и тихо напевал: «эзиз даглар, азиз даглар».

СОДЕРЖАНИЕ

Прозрение приходит утром	3
Ущербный диск луны	15
Бег времени	21
Последний выстрел	28
У каждого своя голова	33
У голубой лагуны	43
Еще бы пару месяцев, доктор	49
Совет Тоуфика-бубы	55

ИБ № 273

Бахшиев Феликс Михайлович

Разнотравье

Редактор В. Носов.

Художник Ф. Джанахай.

Художествен. редактор В. Логачев.

Техн. редактор М. Тищенко.

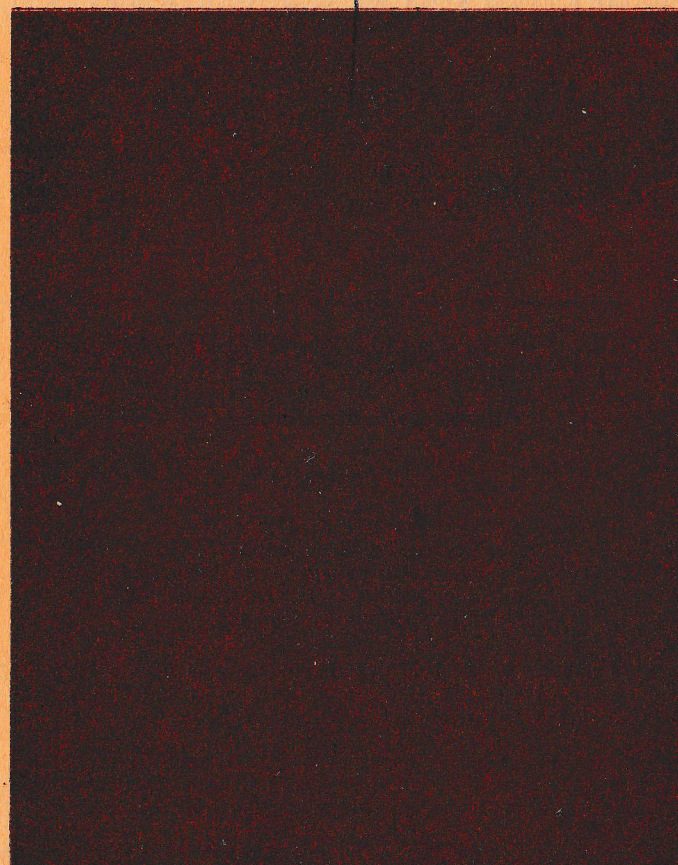
Корректор В. Полюля.

Сдано в набор 9/IV 1977 г. Подписано в печать 9/6-1977 г.
Форм. бум. № 1 70×108¹/₃₂. Бум. л. 1,0 Печ. л. 2,0 Усл. печ. л. 2,8.
Уч-изд. л. 2,7 С02353 Тираж 2000. Цена 20 к.

Дагестанское книжное издательство Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров ДАССР.
г. Махачкала, ул. Маркова, 55. Зак. № 360.

Махачкалинское полиграфобъединение филиал № 1 Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров ДАССР. г. Махачкала, ул. Маркова, 51.

Цена 20 коп.



МАХАЧКАЛА 1977